



Вот ужасный, вызывающий дрожь случай про красную пивку, а вот страшная смерть и трагедия в...

*Артур Конан Дойл.  
Пенсне в золотой оправе*

## Глава 1

### ДЕВЯТЬ СТУПЕНЕЙ

По первой дороге не уйдешь никуда.  
По второй дороге не уйдешь никуда.  
По третьей дороге... по этой дороге не уйдешь...  
не сбежишь... не спасешься...

**ВЕРНЕШЬСЯ.**

Некуда бежать. Стены — потолок, стены — потолок, стены, стены... И пол, холодный как лед.

Девять ступеней вниз. Только эта дорога открыта. Только эта дорога твоя.

Не сбежишь. Не спасешься.

На смятой постели человек в мокрой от пота футболке поднял пистолет, валявшийся на полу, секунду тупо созерцал его, точно видел впервые, а затем сунул дуло в рот и нажал на спусковой крючок.

**НЕ СБЕЖИШЬ!!**

Выстрела не последовало, хотя патроны в магазине были. Вкус железа во рту, вкус слюны...

Пистолет лежал у кровати, до него легко было дотянуться. Но уйти **ВОТ ТАК** не получилось. **ОНО** не желало такого конца. **ОНО** цепко держало его — он был нужен, он был еще нужен. Он не сделал еще того, что **ОНО** требовало, ожидало, жаждало в своей бешеной неумолимой ярости.

ОНО появлялось перед ним по ночам и днем, взламывая сухую штукатурку, разбивая кирпич стен, испарывая старый линолеум, сплющивая в лепешку обувные коробки, привезенные с закрывшегося недавно вещевого рынка. Оно заполняло собой все пространство, показывая себя в разных обликах, в разных своих ипостасях, медля и угрожая, добиваясь полной покорности, полного подчинения.

Смятые обувные коробки... разбитый калькулятор... бритва, кредитка, ключи от машины, пистолет...

И посреди всего этого вздыбленные словно землетрясением плиты пола. Нет, разбитое надгробие, камень могильный, который так и не был поставлен — там...

Где поставлен? Кому?

Мраморная статуя... Живая, нет, конечно же, мертвая... не существующая нигде, только, наверное, в его воспаленном мозгу, но такая реальная, осязаемая...

Статуя в виде ангела с поникшими крыльями. Вместо лица, вместо глаз — багровая рана, бурые потеки на мраморном теле, вибрирующем от боли...

Он видел это перед собой — прямо перед собой у кровати. И за окном, и на стенах, и отраженным в зеркале. Оно заставило его встать и приблизиться к зеркалу. А потом схватилось когтистой мраморной лапой за одно из собственных крыльев и с чудовищной силой рвануло его, выворачивая в суставе, с хрустом дробя кости. Мраморное крыло, покрытое чешуей, — оторванное крыло упало к его босым ногам, обрызгав ступни чем-то горячим и липким. И он закричал, видя свое отражение в зеркале — не себя, нет, своего двойника, который, впившись в собственную руку, со звериной яростью выкручивал ее в суставе, пытаясь оторвать, вырвать с корнем... Оторвать, вырвать, сломать, помогая себе ножом и зубами, превратившимися в клыки...

ОНО наблюдало за ним с довольной ухмылкой... Оно добивалось полного подчинения, полной власти. А такую власть давала только боль — эта дрящущаясь день за днем, ночь за ночью пытка.

Когда он охрип от крика, когда сердце его готово было разорваться, Оно сжалилось... Нет, просто чуть ослабило хватку. Оно не хотело убивать его — пока, потому что он был нужен. Он еще не исполнил своего предназначения в полной мере.

Шурша чешуей по разбросанным по полу обувным коробкам, Оно ползло к нему, сжавшемуся в комок в узком ущелье между кроватью и зеркалом.

Он, еще не опомнившийся от боли, втянул голову в плечи. Нет... нет, не сейчас, ну пожалуйста, нет, не сейчас...

Оно накрыло его собой, как ночь накрывает землю, забив рот вонючей чешуей, чтобы он больше не мог ни кричать, ни стонать, стиснуло в кольцах объятий и повлекло за собой.

Девять ступеней...

Всего девять ступеней вниз...

Только эта дорога открыта...

Только эта дорога, и кто-то уже выбрал ее для себя.

Смятая постель, обувные коробки от пола до потолка, зеркало в простенке, мужские кроссовки, кредитка, ключи от машины...

Вот тут у кровати был пистолет.

Теперь его нет.

Девять ступеней вниз...

На полу возле зеркала среди сплюснутых обувных коробок — окровавленное крыло, покрытое змеиной чешуей, в электрическом свете распадающееся на части...

Такого теплого ясного вечера на Старом Арбате не случалось давно. Возле театра имени Вахтангова золотая Турандот купалась в сверкающих на солнце струях фонтана, окруженная толпой горожан и туристов, собравшихся в ожидании театрализованного представления уличных мимов и клоунов. В роли мимов и клоунов выступали студенты театральных вузов — пестрая банда в невероятных париках и костюмах двигалась по Арбату. Рыжий мим дудел в саксофон, его собрат, наряженный сексапильной брюнеткой в корсете и розовой пачке, бил в литавры, позаимствованные в театральном оркестре.

Голуби, вспугнутые шумом, взметнулись с мостовой, закружили над статуей Турандот, над фонтаном, над крышами, а потом снова чинно уселись на бетонных плитах стройки, вплотную примыкавшей к зданию театра. Возведено было уже три этажа железобетонных конструкций, опутанных арматурой, огороженных хлипким забором. Над всем этим торчал кран, но рабочих в этот час на стройплощадке уже не было. Арбатским голубям, оккупировавшим бетонные проемы, никто не мешал наблюдать с верхотуры за уличным действием.

Туристы и просто прохожие стекались к фонтану, привлеченные звуками музыки. Театральная банда встала на якорь у дверей Дома актера. Саксофонист выкаблучивался как мог, появилась пара гитар, импровизированный ударник. Мимы начали разыгрывать сценки, и зрители, толком ничего не понимавшие в уличном перформансе, встречали их шумом и аплодисментами. Кто-то из туристов фотографировал, кто-то снимал на видео.

— Это гей-парад?

— Что вы, это просто актеры, студенты.

— А чего ж парни с накрашенными губами, в юбках?

— А почему нет? Прикольно же!

— Ой, девчонки, а я вон того блондинчика по телику видела в сериале... Эй, это вы на «СТС» хохмили? Нет? Ну очень похож...

— Отойдите, не видите, я снимаю...

— Понаехали тут! На своем собственном Арбате уж и шагу не ступить...

— Э-э... простите великодушно, это конгресс дураков?

— Какого хрена!

— А зачем они все такие ряженые?

Актеры танцевали. В вечернее небо над фонтаном взметнулись шары. Внезапно голуби, гревшиеся в закатных лучах на бетонных плитах стройки, взмыли вверх. Их кто-то спугнул с насиженного места.

Все внимание собравшихся на маленькой площади перед фонтаном было поглощено представлением. На стройку никто не смотрел — на шершавые бетонные блоки, зияющие проемы, оцетинившиеся железными штырями.

В ту сторону, щурясь от солнца, бившего прямо в глаза, глянул мельком только продавец сувениров, скучавший у своей палатки. Уличный перформанс отвлек всех потенциальных покупателей. Майки с надписью «СССР», армейские ушанки с кокардами, вязаные варежки и матрешки, которые обычно шли нарасхват у доверчивых иностранцев, сейчас сиротливо лежали, висели, качались на ветру, не востребованные.

Весь вечерний Арбат смотрел на представление. А торговец сувенирами, ненавидевший артистов, этих сволочей конкурентов, упрямо и тоскливо пя-

лился в противоположную сторону — на фонтан, на забор, облепленный афишами, на витки ржавой арматуры, на испуганных голубей...

Сначала он подумал — ему ЭТО мерещится. ТО, ЧТО ОН УВИДЕЛ в бетонном проеме третьего этажа строящегося здания.

На самом краю бетонной плиты стоял человек. В его руке был пистолет, и он целился сверху прямо в толпу — в студента, наряженного в корсет и розовую балетную пачку.

Бах!

Это был не выстрел. Ударили медные литавры театрального оркестра.

Торговец сувенирами зажмурился. Потом открыл глаза. И не узрел того, что видел секундой раньше. Бетонная площадка была пуста.

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ... Торговец невольно вытер вспотевший лоб. Слава богу, померещилось... И при-видится же такое, вот черт... А все жара... Торчишь на улице день-деньской, бабки с приезжих выжимаешь... ушанки армейские, матрешки... вот черт...

Он отвернулся от стройки и потихоньку начал сворачивать свой сувенирный ларек. Театральная банда входила все больше и больше в раж. Студенты отрывались от души, веселились сами и хотели развеселить Арбат. Они не получали денег за этот уличный карнавал, и поэтому желание веселиться и веселить было искренним. Долой скуку! Долой кислые, озабоченные, хмурые, злые морды! Да здравствует саксофон, да здравствует розовая пачка! Губная помада! Старый котелок, стоптанные каблуки, рыжий парик, да здравствует ментик гусарский с оторванным аксельбантом и мятая шляпка, славная шляпка из итальянской соломки!

Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки...

Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры,  
дети...

Но вы, но вы, мои случайные подружки...

А нам все равно, пусть боимся мы волка и...

I love you Dolly...

Близится эра светлых годо-о-ов, клич пионера —  
всегда будь...

ЭТОГО НЕ УВИДЕЛ НИКТО ИЗ СОБРАВШИХСЯ НА ПЛОЩАДИ У ФОНТАНА. Даже бдительный торговец сувенирами, который посчитал, что ВСЕ ЭТО ему померещилось.

По железному каркасу строительной арматуры, нависавшей над забором, ловко и бесшумно, как акробат, в мгновение ока спустился человек и смешался с толпой. Выбранная им ранее позиция наверху на строительной площадке его не устроила. Цели были слишком далеко. Нужен был близкий, максимально близкий контакт.

Человек широко расставил ноги, упиравшись крепко в плиты мостовой. Он что-то сказал сам себе негромко, но в шуме фонтана это слышала только статуя — золотая Турандот — бесстрастная и лукавая.

Она не могла, да и не собиралась никого предупредить. Она лишь наблюдала сквозь прозрачные струи.

Человек вскинул руку — цели были прямо перед ним.

Такие вечера вспоминаешь потом долго-долго... И жалеешь о них, о чем жалеешь? Да так, просто так...

У полковника милиции Федора Матвеевича Гущина было самое сентиментальное и самое меланхоличное на свете настроение. Первые дни лета, семейство дражайшее — супруга и теща — на

югах, в тихой Анапе, где вот уже третий сезон подряд снимают у знакомой хозяйки комнату в получасе ходьбы от моря. Сын — курсант Высшей школы милиции — в мае месяце женился. Обалдуй. Не мог дотерпеть уж, курс последний кончить... Сейчас не до отца, молодожен, ешкин корень...

А тут старый товарищ из министерства позвонил под конец рабочего дня. И ну соль на раны сыпать, а потом соблазнять адски. Как там настроение, Федя? Как раскрываемость в конце месяца? Как там ваш доблестный областной уголовный розыск? Пашет? Устал пахать? Зашиваетесь вконец — ну-ну... А не хочешь ли под занавес, на излете, перед пенсией, которая уже не за горами, перейти к нам в министерство? Должность солидная, тихая гавань, кабинет окнами на французское посольство, и зарплата как-никак побольше. Есть смысл обсудить предложение?

Встретились обсудить за коньячком под шашлычок на Арбате в грузинском ресторане, что, как горные сакли, громоздился уступами в переулке прямо за новехоньким торговым центром.

Вот так посидеть широко именно в грузинском ресторане ПОСЛЕ «пятидневной войны» — в этом был свой кайф. Федор Матвеевич Гущин аж плечи расправил и после каждой рюмки вытирал платком лысину. Демонстрируем все... А кому, скажите? Шиш под одеялом... А кому? Сидим все в одной общей ж... извините, подвиньтесь, а тоже еще... Ну а ты что скажешь мне, старый мой министерский кореш?

Министерский только кряхтел, закусывая чахохбили. Эх, да что там, Федя... был союз нерушимый, была страна, и какая страна... А теперь... «Пятидневная война» — дожили, называется... Кавказ подо мною... Живут ведь все там столетиями на одном

пяточке среди гор, и вот поди ж ты — режут друг друга, взрывают. Дикость, а культурные вроде люди, цивилизованные, когда-то вообще одним народом считались — великий, могучий, советский... А теперь кланы, родо-племенной строй... Порядок нужен, дисциплина, а где это все? Где?! Слыхал, как хриплый очкарик Шевчук поет: «Я умереть за родину готов, но у меня тара-ра-ра семья и дети»... Так-то, друг, не на одном Кавказе все по швам трещит. Вон слышал про майора-то, начальника ОВД? Китель надел, достал пистолет и давай... и давай одиночными прицельно... в супермаркете. Как после такого майора в глаза-то смотреть, как отвечать людям — почему, за что... Никогда ничего подобного, сколько мы с тобой служим, сколько министров пережили, сколько проверок с рук сбыли долой, сколько сил, нервов службе отдали, сколько убийств раскрыли, сукиных детей этих на нары определили — и все получается коту под хвост. Один майор пришел, вынул пушку, перестрелял, и все в тартарары.

**НЕ ВСЕ. РАЗБИРАТЬСЯ НАДО.**

Федор Матвеевич Гуцин аж стукнул по столу кулаком, так что шашлык подпрыгнул и тарелка с лобио в грузинском-то ресторане, где все забрано светлым деревом, где сакли громоздятся по уступам горным, где свисают с потолка связки лука и сладкие чурчхелы, где тихо и стройно поет в динамике хор заздравный «Мравалжамиер».

Надо, Федя, надо. Надо разбираться, только вот поди разберись...

Сам черт не разберется...

Насчет перевода в министерство, в тихую гавань, даже после коньяка под шашлычок Федор Матвеевич Гуцин, несмотря на все хитрые посулы, будировать тему не стал. Обождет... может, позже, когда уж

совсем станет тяжело, неважно, да и здоровье пока еще позволяет...

Расстались, обсудив все насущное и не очень — от политики до министерских сплетен кто куда назначен и кто чей, расстались умиротворенные.

Такие вечера, господи ты боже мой, не так уж и часто выпадают в жизни. Редкое удовольствие, наверное, потому и жалеешь потом, вспоминаешь в своем одиночестве в прокуренном кабинете, где только-только прахом пошло совещание...

Вечер тихий...

Семейство на югах...

Один...

Арбат старый...

Музыка, джаз...

Дамы красивые... Сколько красивых, оказывается, бродит... А в машине едешь, ни хрена не замечаешь, все спешишь — новое убийство, банк ограбили, башку кому-то снесли...

Сколько женщин, однако, бродит вечерами по Арбату, одиноких, симпатичных...

И все куда-то туда семят каблучками — в сторону фонтана, там музыка...

Полковник Гушин достал из кармана шегольского пиджака сигареты, неторопливо, с достоинством прикурил, ощущая запах дыма, запах вечернего воздуха, аромат кофе, доносящийся из многочисленных арбатских кофеен.

Оглянулся на грузинский ресторан — мир вашему дому, генацвале, и...

**ВЫСТРЕЛ!**

А следом за ним еще один, а потом еще и еще. И еще.

Позже, когда ВСЕ ЭТО уже стало достоянием уголовного дела, возбужденного по факту КРОВАВОЙ

БОЙНИ у фонтана, всему происшедшему нашлось даже слишком много свидетелей и очевидцев.

И все в один голос твердили: ничто не предвещало. Никто и подумать-то не мог. Просто стояли на Арбате у театра, у фонтана, слушали музыку, смотрели на актеров — потешные такие пацаны, ряженные, и вдруг...

Что было сначала, а что потом? Что было первым, а что вторым? Вой саксофона, крик боли, грохот литавр и еще какой-то звук, который в толпе сначала приняли за хлопок петарды. Но это была не петарда.

Актер в корсете и розовой пачке внезапно дернулся и рухнул навзничь как подкошенный. Из пробитого горла фонтаном ударила кровь.

И только тут все разом оглохшие, онемевшие зрители, вся эта толпа туристов, актеров, музыкантов, зевак увидела ТОГО, КТО СТРЕЛЯЛ.

Он был самой обычной наружности. Среднего роста, коротко стрижен и вроде молод. Он стоял, широко расставив ноги, подняв руку с пистолетом, — стоял прямо в толпе зрителей. От актера в розовой пачке его отделяло каких-нибудь пять шагов.

Но и тогда еще толком никто ничего не понял. Все просто обалдели, замерли. Человек с пистолетом повернулся и выстрелил в голову саксофониста. Потом сделал несколько шагов вперед и выстрелил еще раз — в актера с длинными светлыми волосами, собранными в хвост, одетого в гусарский ментик.

И только после этого арбатская площадь огласилась криками. Люди подались назад. Кто-то упал в фонтан, кого-то смяли, прижали к забору стройки. Все бросились в разные стороны, толкая друг друга, сбивая с ног.

Человек с пистолетом повернулся как робот, выбирая новые цели. Теперь он стрелял как в ти-

ре — пах! Пах! Пах! И каждый выстрел находил свою цель.

Один из прохожих — крепкий мускулистый мужчина лет сорока, не поддавшийся общей панике, подскочил к стрелку сзади и попытался схватить его руку с пистолетом. Но стрелок был силен и проворен: он ударил пистолетом, как кастетом, наотмашь. Мужчина упал на мостовую. Он закрылся руками, уверенный, что следующая пуля будет его. Но стрелок, подскочив к нему, лишь с силой ударил его ногой по голове. И отвернулся, как будто разом потерял интерес.

Его внимание привлекла другая цель — актер в пестром женском платье, совсем еще молоденький паренек, похожий на румяную девушку. Прогремель выстрел — пуля попала ему в живот. Двое его товарищей-актеров подхватили раненого под руки и потащили прочь, пытаясь скрыться в охваченной ужасом, бегущей толпе.

Стрелок последовал за ними. У него кончились патроны в магазине, и он сноровисто и быстро перезарядил пистолет.

Выстрелом в голову убил одного из актеров, тяжело ранил второго и направился к пареньку в женском платье, стонавшему в луже крови.

Все это происходило уже на опустевшем Арбате, все разбежались, попрятались кто куда — набились в кофейни, в ювелирный магазин, в аптеку — ту самую, старую, знаменитую, что на углу.

Сквозь витрины аптеки люди видели, как стрелок неспешно, как-то даже отрешенно двигался по направлению к своей раненой беспомощной жертве. Словно старался продлить удовольствие...

И тут откуда-то сбоку, со стороны переулка, занятого грузинским рестораном, на него налетел пол-

ный лысый мужчина — тоже самый обычный с виду и, кажется, уже в годах.

Выстрел! Пуля ударилась о карниз здания — мужчина в броске попытался выбить оружие из рук стрелка. Но это было не так-то просто.

Полковник Гушин ринулся на выстрелы, доносившиеся с площади перед театром. Он грузно бежал, расталкивая толпу, устремляющуюся ему навстречу, — прочь, прочь, спасайся кто может.

Как он помнил, там, в арбатских особняках, было немало ювелирных магазинов, был и банк. И поначалу он решил, что это ограбление.

А потом увидел всю картину — трупы на мостовой, кровь — у фонтана, брошенную впопыхах кем-то сумку, медные тарелки-литавры, саксофон и... ЕГО, того, кто держал пистолет и медленно шел к скорчившемуся парнишке, обеими руками зажимавшему рану на животе.

Лица людей за витриной аптеки как маски. Это было последнее, ясное, отчетливое, что видел, что помнил полковник Гушин потом, позже. Стекло, много чертова стекла...

Удар! От удара в челюсть стрелок отлетел в сторону, но пистолета не выронил. Выстрелил уже не целясь. Нет, вовсе не в полковника Гушина, пытавшегося его задержать. А в раненого актера, лежавшего на мостовой.

Промах! Еще один выстрел! Пуля попала раненому в ногу, и он заорал от боли, забился в судорогах.

«Кто-нибудь, да помогите же ему! Вытащите его оттуда!» — это истошно на весь Арбат закричала какая-то женщина со второго этажа, где помещался итальянский ресторан, может быть, повар или официантка. Но никто не полез под пули.

Гушин подскочил к стрелку, но получил удар ногой в живот. Тот был молод и силен, и он не желал сдаваться. Снова используя пистолет как кистень, он ударил Гушина по голове. Но промахнулся, попал в плечо.

«Не стреляет в меня... Почему в меня не стреляет?!»

Гушин схватил его за руку, рванул на себя, заломил, применив болевой прием, потом ударил и еще ударил. Но у него было такое ощущение, что все его приемы и удары его противник не ощущает, не чувствует боли.

То, что он очень силен, что он намного сильнее и что он хочет убивать... что он вот-вот вырвется и снова выстрелит, — в этом уже не было никакого сомнения. И тогда Гушин, заревев от ярости как раненый медведь, используя свой немалый вес и свое потерявшее боевую форму немолодое тело, бросил себя на стрелка — как бросали себя на войне на дзот, на амбразуру. Бросил, закрывая собой все и всех, каждую секунду ожидая последнего выстрела — в грудь, в живот.

Но выстрела не последовало. Может быть, потому, что у стрелка кончились патроны?

Не удержавшись в броске на ногах, оба они, и стрелок, и Гушин, с размаху влетели прямо в витрину аптеки, высадив ее.

Грохот, звон, осколки, крики людей... Мраморный пол... Гушин, оказавшийся сверху своего противника, ударил его по голове, схватил за волосы.

В глазах стрелка, которые были всего в нескольких сантиметрах от него, он не увидел ничего — никакого выражения, ни страха, ни боли, ни бешенства. Абсолютно пустые глаза...

Он ударил его по руке, выбив пистолет, — и тот отлетел к прилавку.

— Ублюдок! Что ж ты наделал, гад!!

Гушин выкрикнул это, задыхаясь, замахиваясь, награждая ЕГО... этого... новым сокрушительным ударом.

Никакого ответа. Пустой взгляд... Что-то неживое, страшное... Уплывающее, ускользающее... Словно тинной, подернутое мутной непроницаемой пленкой.

### Глава 3

#### ЦВЕТ МАРЕНГО

В зал на втором этаже привезли образцы драпировочных тканей и штор, и Старшая Хозяйка сказала:

— Мне нравится цвет маренго, он успокаивает, расслабляет.

— Может быть, все же фиолетовый? — вкрадчиво спросил дизайнер.

— Это цвет смерти.

— Но черный...

— Черный мы и так с сестрами носим слишком часто, почти постоянно.

Дизайнер умолк, понимающе кивая. Он знал историю этого дома — из слухов, из сплетен, из статей в желтой прессе — и поэтому не стал настаивать на своем. Да он и не смел настаивать, даже не пытался — Старшая Хозяйка всегда умела заставить его профессиональный вкус подчиниться ее вкусу богатого заказчика.

— Мне нравится маренго, сестры тоже его одобряют, нам всем будет комфортно работать в таком декоре. — Старшая Хозяйка прошлась по залу, прислушалась к звукам в глубине дома, потом выглянула в окно.

Небольшой и тем не менее просторный, очень аккуратный особняк выходил окнами на Малую Бронную. Он имел маленький внутренний двор, отгороженный от улицы кованой решеткой. Особняк не был новоделом, когда-то давно, в первые годы революции, в нем заседали анархисты, затем в середине тридцатых он был подарен Сталиным старому писателю, вернувшемуся из эмиграции. Во времена «оттепели» старых жильцов сменил известный журналист-международник, женатый на англичанке. А потом, в середине семидесятых, в особняке особым распоряжением Моссовета поселили женщину с детьми, женщину, о которой тогда — в семидесятые — да и потом шушукалась на кухнях вся Москва.

Ее звали Саломея. И портрет ее украшал зал, уставленный диванами и креслами, где ждали своей очереди на сеанс все те, кто попадал в этот тихий особняк по предварительной записи — за месяц, за два месяца, а то и больше.

— Мне тоже нравится цвет маренго, Руфина, — послушно сказал дизайнер. — А ковровое покрытие тогда будет винного цвета?

— Винного? А где образец? Я хочу посмотреть образец.

К Старшей Хозяйке всегда и везде обращались исключительно по имени — Руфина. Таково было правило. По именам «в миру» звали и ее сестер — Среднюю Хозяйку и Младшую Хозяйку. Августа и Ника были их имена. Отчества и фамилия как-то с этими именами не сочетались. А потому правило было непреложным всегда и везде — на сеансе, при обсуждении деловых вопросов и при других обстоятельствах — только имена: Руфина, Августа и Ника.

Когда-то их мать, Саломею, вся Москва знала

тоже только по имени, а все остальное для обывателей было тайной.

— Винный подойдет, но я хочу в узоре ковров что-то азиатское — афганское или тибетское, — Руфина бросила взгляд на статую медного Будды, как будто поставленного на караул возле широкой двустворчатой двери.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась Средняя Хозяйка, Августа, — высокая жилистая женщина лет сорока с пышной стрижкой. Она была в мягком струящемся костюме из черного кашемира — дорогом и стильном. На груди ее висел золотой амулет.

— Мы закончили, он уезжает, — сказала она, голос у нее был слегка хриплым, наверное, оттого, что она курила.

Руфина снова подошла к окну. У кованых ворот ее дома стоял бронированный «Майбах», и в него, заботливо поддерживаемый охраной, садился не старый еще, но явно увечный мужчина восточной наружности.

— Вы с Никой подняли ему настроение, — усмехнулась Руфина.

— Он привез готовый к подписи контракт и акции, просил, чтобы мы считали информацию и сказали о перспективах. И потом, у него большие проблемы с сыном... Тот судится с бывшей женой из-за детей. Хочет, чтобы они остались в их мусульманской семье, а она требует, чтобы они учились в Англии и жили там...

— Вы подняли ему настроение, — повторила Руфина, провожая взглядом тронувшийся с места «Майбах». — По их вере, кажется, им запрещено обращаться за советами к таким, как мы... Если бы он приехал к нам тогда, до этого злополучного покуше-

ния, до взрыва, то... Бегал бы сейчас... бегал бы как молодой, еще бы и гарем новый завел.

В зал неслышной поступью зашла третья, младшая из сестер-хозяек: Ника. Она была самая красивая, но даже человеку, впервые попавшему в этот дом и ничего не знавшему о его обитателях, с первого же взгляда становилось ясно: эта женщина в свои тридцать с небольшим — дитя неполного разума.

Она была темноволосой и кудрявой и тоже в черном: в маленьком атласном платьице, оголявшем одно плечо. Ноги ее были босые. Она плюхнулась в кресло и начала болтать ими, ничуть не стесняясь дизайнера.

— Такой трудный... он такой трудный для чтения, — щебетала она тоненьким детским голоском. — И во всем сомневается, так сомневается. Хотя так хочет верить, так этого хочет, такой глупый... А ведь он же такой умный, такой богатый и такой глупый, все сомневается, сомневается... Как можно сомневаться, когда я это ему говорю, когда я вижу. И Августа тоже видит. Правда, Августа?

— Правда, ты молодец, девочка.

— Такой трудный, даже голова заболела.

— Тебе нехорошо? — тревожно спросила Руфина.

— Хочу малины.

Ника — тридцатилетнее дитя, нисколько не стесняясь дизайнера, раздвинула стройные свои ножки, продемонстрировав отсутствие белья, и почесала промежность. Встала, потянулась и сказала вроде бы без всякой связи:

— Я видела, что он скоро умрет, но я не стала этого ему говорить. Вы же не разрешаете мне говорить такое.

Она исчезла так же бесшумно, как и появилась. Дизайнер кашлянул.

— Руфина, так мы определились с выбором? Цвет маренго для драпировок, обивки и штор и ковровое покрытие... я понял, что вы хотите.

— Да, дорогой, когда привезете и начнете делать?

— Закажу сегодня же, а привезут, наверное, на следующей неделе, как доставят. Я сразу вам позволю.

Когда он ушел, Руфина снова машинально пролистала альбом с образцами тканей.

— Он показывал в ноутбуке, как все будет выглядеть, — сказала она сестре.

— Тебе понравилось?

— Да.

— Делай как считаешь нужным, — сказала Средняя Хозяйка — Августа.

— Что еще сказал Багдасаров?

— Ну, он в основном нас слушал... Впрочем, у него деловое предложение. Он хочет, чтобы мы открыли салон, и знаешь где? В ЦУМе. Сейчас, на волне кризиса, это модно, это актуально, вон в Лондоне, в универмаге «Селфридж», что-то такое есть... сеансы гадания, и тут же магазин.

— Мать этого бы не одобрила.

— Мать практически в подполье была большую часть своей жизни, — Августа обвела глазами зал, — а потом тут торчала безвылазно. Багдасаров серьезно предлагает нам подумать над его предложением о ЦУМе.

— Кто туда поедет?

— С Рублевки поедут.

— С Рублевки и сюда едут, а там ведь надо будет платить за аренду и что-то отдавать универмагу. Зачем нам это?

— Вообще-то да.

— Тут у нас не Лондон, — заметила Руфина.

Она швырнула альбом с образцами тканей на низкий столик, инкрустированный перламутром. Выпрямилась. Они с Августой были похожи, только облик Руфины — сорокавосемилетней, старшей — казался мягче, она сильно была склонна к полноте, хотя и вечно сидела на диетах. И волосы ее светлые были собраны сзади и прихвачены заколкой. А наряд был тоже черным: длинное платье и роскошная накидка от Кензо.

По слухам, по сплетням, по статейкам в желтой прессе, по интервью вся Москва знала, что сестры Руфина, Августа и Ника — сестры-медиумы, знаменитые ясновидящие сестры-Парки — вот уже одиннадцать лет одеваются преимущественно в черное, нося траур по брату, без вести пропавшему, и по матери — великой Саломее, которая не смогла пережить этой страшной утраты.

— Уходишь? — спросила сестру Руфина.

— У меня клиент на три тридцать. Секретарь записала его снова, ну того... ты помнишь...

— Опять этот урод? Еще один урод?

— Несчастное создание.

— А оно может платить, это создание?

— Ты же знаешь, Руфина, что нет. Чем платить с такой пенсии?

— Зачем ты с такими якшаешься?

— Ну, скажем, мне интересно. И потом, это ведь не один урод, а целых два уroda...

— Все надо проветривать потом, весь дом, так воняет всегда после!

Августа — Средняя Хозяйка, средняя сестра-Парка — только махнула рукой: а, отстань.

Через пять минут внизу, в холле, раздались голоса — нет, точнее, шум странный и нечленораздельный, то ли мычание, то ли хриплые гортанные

выкрики. Руфина вышла на лестницу, но спускаться не стала.

Там внизу, в холле, Августа лично встречала нового клиента, привезенного в дом к сестрам-Паркам пожилой матерью откуда-то то ли из Шатуры, то ли из Орехова-Зуева. Это был грузный парень, распространявший вокруг себя тяжелый смрад, но это Августу совершенно не шокировало. С жадным вниманием, с каким-то даже болезненным, алчным любопытством она взирала на это создание — по сути своей являющееся сросшимися сиаемскими близнецами: две ноги, две руки, а вот дальше что-то невозможное — голова, слепленная по прихоти природы, а может, из-за пьяного зачатия из двух человеческих голов, где все смещено, искорежено — нос, три глаза и огромный, похожий на пасть рот.

Создание мычало и жестикулировало, пытаясь что-то сказать. Но и так все было понятно — оно приехало (в который уж раз) к ясновидящий Августе узнать, что уготовила ему судьба. В надежде на грядущее счастье и хорошие перемены.

## Глава 4

### СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

— Ой, как хорошо, что это ты, наконец-то освободилась! Они уже тут, долбят стенку вовсю. Их трое, и все здоровенные мужики, представляешь? А я совсем одна. Я боюсь!

Этими словами, произнесенными тревожным шепотом, Анфиса Берг встретила Катю Петровскую, по мужу Кравченко, на пороге собственной квартиры.

Катя — капитан милиции, криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД Московской области,

весь этот погожий июньский день провела, как раб на галерах, на совещании в МВД на Житной. Накануне подружка Анфиса звонила ей и слезно умоляла «прибыть завтра незамедлительно, потому что у меня...».

Нет-нет, сердечные неурядицы — вечные спутники доброй толстой Анфисы — на этот раз были ни при чем. Просто в доме, где жила Анфиса, еще в мае начался капитальный ремонт, и вот к началу июня строители добрались и до ее уютной, всего два года назад отремонтированной квартиры.

— Стояк будут менять, это ли не зверство? — Анфиса буквально затащила малость опешившую Катю в прихожую. А в прихожей-то — батюшки-светы: пол застелен полиэтиленом, и от пыли — не какой-нибудь, а самой настоящей цементной пыли — не продохнуть. Скрежет противный уши режет, а потом — БУМ-М-М! БАХ!

— Боже, стенку в ванной ломают и в туалете! — Анфиса прислонилась к вешалке. — Я не могу, Катя, я просто не могу больше... Тот ремонт мой, ну ты помнишь... это же катастрофа была, столько денег... Я плитку такую красивенькую подобрала итальянскую, — Анфиса всхлипнула, — все так аккуратненько было... Положили, приклеили и герметиком... А теперь... Катя, там три лба здоровых с кувалдой и слушать ничего не хотят. Все долбят, рушат. Я пускать не хотела, а они — в суд на вас домоуправление подаст, потому что стояки менять во всем доме обязательно, старые, мол... В суд вас вызовем. По судам затаскаем! Имеют они право?

— Подожди, не реви, — Катя прислушалась к грохоту в ванной. — Сейчас разберемся, что они там имеют...

Анфиса рыдала, уткнувшись в вешалку среди пыли и разорения. А Катя... после совещания в ми-

нистерстве, где столько умных коллег высказало столько умных, весьма умных, но, увы, мало осуществимых на практике идей, которые надо было затем подать в ведомственной прессе поприличнее... Короче говоря, она была усталой и злой как черт. И еще очень голодной. А такой настрой весьма кстати в разборках с коммунальщиками.

— Вы что тут за безобразие творите? — Катя кавалерийским наскоком распахнула дверь ванной и...

Вместо зеркала, вместо белоснежной итальянской раковины, которую Анфиса выбирала долго и тщательно, вместо новехонькой плитки, что она драила мочалкой с моющими средствами каждый день, зиял страшнейший пролом в стене, и оттуда трое дюжих мужиков выкорчевывали что-то ржавое.

— Не отвинтим никак, заржавело. Автоген тут нужен, деушка, — жизнерадостно сообщил один из коммунальщиков Кате, потерявшей дар речи, видимо принимая ее за хозяйку квартиры. — Щас автогенчиком чикнем и потом новый приварим.

— Да вы же тут все разбили, мама моя, — Катя, как и Анфиса прислонилась... не к вешалке, к двери ванной. — Тут же был новый ремонт, столько всего... А как же потом?! Кто это все будет в порядок приводить?!

Она даже растерялась — разрушения в ванной были слишком масштабными.

— А, ниче, плитку принесем, залепим — и ништяк! Только, конечно, такую не подберем, вон белую кафельную производства незалежной — это пожалуйста. А сейчас автогенчиком поработать придется.

— Ну что там? — шепотом спросила Анфиса, когда Катя вернулась.

— Анфис, ты только не волнуйся. Дело житейское...

— А чего у тебя такое лицо?

— Анфис, они все раскурочили, там вот такая дыра, — потрясенная Катя развела руками на всю длину.

— Ой, а что у тебя такое лицо? Ты только не волнуйся... Я сейчас валокордина тебе накапаю, — Анфиса кинулась на кухню, семена своими короткими толстыми ножками, — Катюша, это у тебя от неожиданности шок. Я-то уж привыкла с этим чертовым ремонтом, притерпелась, а ты...

БУМ! БАХ! — загрохотало в ванной кувалдой по стенам. Прощай, евроремонт, прощай, итальянская плитка!

Потом подружки сидели в комнате, вздрагивая при каждом новом ударе. Катя выпила-таки валокордин. Прислушивалась к шипению автогена, которым резали стояк. А когда с грохотом и скрежетом по новенькому паркету к ванной покатали на ужасной тележке кислородные баллоны для сварки, она не выдержала:

— Да что же это такое происходит?! Какой это, к черту, капитальный ремонт?! Тут же жить невозможно стало. Вода у тебя есть?

Анфиса горестно покачала головой.

— И канализация не работает, — она снова всхлипнула, — с сегодняшнего дня. Сказали, включат вроде на днях. Я соседку с нижнего этажа встретила, а она меня спрашивает — интеллигентная такая дама, она в консерватории преподает: Анфисочка, простите великодушно, но... такая проблема у меня... как ходить в туалет? Может, вы что посоветуете?

— Многие на дачи уезжают, лето ж, — жизнерадостно посоветовал возникший на пороге комнаты коммунальщик. — Хозяюшка, у вас попить чего не найдется, а то от пыли в горле першит.

Анфиса... добрая Анфиса налила ему, конечно же, чаю... Пей, пролетарий, знаю ведь, не твоя это злая воля — весь этот коммунальный бардак.

— Вот что мы будем делать. — Катя, малость взбодренная валокордином и все еще голодная как волк (есть в этом кошмаре было просто невозможно), скомандовала: — Ну-ка давай собирайся. Без разговоров. Сейчас они тут отпилят эту свою трубу, уйдут. Все равно ведь конец рабочего дня. А мы с тобой поедem ко мне. И ты будешь жить у меня. А сюда приезжать — контролировать.

— Но, Кать, как же я квартиру оставлю?

— А как ты будешь без воды и канализации эти дни? Давай собирайся, сейчас я вызову такси, и заведем весь этот капремонт на сегодня как страшный сон.

— Кать, я...

— У меня знаешь какие дома пирожные? — выдвинула Катя последний, самый веский аргумент, — пальчики оближешь. И чай я тебе заварю — этот твой любимый со сливками и карамелью.

Толстушка Анфиса собирала сумки. В ванной пилили стояк — пилите, Шура, или как там вас, пилите! Такси приехало через пять минут. Катя была довольна. Это вам не совещание в министерстве, где скука смертная и надо все равно сидеть, подставив диктофон, строчить в блокноте, записывая умные бесполезные мысли. Это вам — живой процесс, на который можно влиять своей собственной волей.

— А я не помешаю? — Анфиса уже не сопротивлялась, просто беспокоилась из деликатности. — Твой муж... Вадик, он все еще не...

— Он за границей вместе со своим работодателем. — Катя пока не хотела касаться этой весьма больной для себя темы — отношений с «Драгоцен-

ным В.А.», как именовался муж ее, Вадим Андреевич Кравченко, на домашнем жаргоне.

— А вы, значит, еще с ним не...

— Ты успеешь сделать свой ремонт, — заверила ее Катя.

Добрая Анфиса только вздохнула. Потом они сидели в прихожей. Ждали, когда отвалят садисты-коммунальщики. И те ушли как ни в чем не бывало, потому что день рабочий кончился, оставив после себя пролом в стене, тучи пыли, битую плитку, пустые краны и лишенный воды унитаз.

Анфиса закрыла дверь разоренной квартиры. Погладила дерматин — не скучай, милый...

Катя, торжествуя, что все проблемы так легко удалось решить, по крайней мере на сегодня, погрузила подругу в такси и уже хотела садиться сама, как вдруг у нее зазвонил мобильный.

— Капитан Петровская?

— Да, я.

— Это дежурный по Главку. Вы еще на совещании?

— Нет, что-то случилось?

— Просили вас вызвать.

— Что произошло?

— В Москве серьезное происшествие. Незвестный открыл стрельбу по прохожим на улице. При его задержании, как нам докладывают, пострадал Гущин Федор Матвеевич... Товарищ полковник наш пострадал...

— Еду! — Катя сунула Анфисе ключи от квартиры. — Адрес знаешь, устраивайся. Я скоро буду, а если задержусь, то...

Она махнула таксисту и, только когда он уже отъехал, сообразила, что они могли подвезти ее туда, куда ее так спешно вызывали, — на работу, на Никитский, 3.

### «КАК РАСТАЯЛ...»

Смеркалось. Во внутреннем дворике особняка на газон, на маленькие клумбы ложились густые синие тени. Пока Августа занималась своим клиентом, старшая сестра Руфина и младшая сестра Ника сидели в шезлонгах во внутреннем дворе. Ника уплетала спелую малину, розовый сок тек по ее подбородку, но она словно и не замечала.

Но вот сеанс предсказаний, видимо, закончился. Горничная промелькнула в окнах первого этажа, включая кондиционеры на полную мощность.

— Увезли уродов, — Руфина вздохнула. — Наконец-то. Не поймешь, он один или их двое.

— У него внутри все чешется, — буркнула Ника с набитым ртом.

— Что?

— Чешется, горит. Я вижу... читаю... У него в мыслях только это одно сейчас.

— Этого еще не хватало.

— Трахаться хочет. Был маленький — стал большой. Он вырос, и его мать... Я знаю, что Августа им скажет и что его мать сделает, — младшая сестра Парка Ника — тридцатилетнее дитя — облизнула губы розовым язычком. — Я знаю, что предложит Августа, она всегда это им предлагает.

Руфина резко встала, отпихнула шезлонг ногой. И пошла в дом.

— Вера, откройте окна везде, — приказала она горничной — проходящей поденно, тихой как мышь, мелькающей по дому как призрак. — Здесь кондиционер бесполезен, впустите воздуха, свежего воздуха.

Потом она пошла к Августе и не нашла ее в

спальне. Августа была внизу, стояла в зале возле портрета матери — великой Саломеи.

— Я знаю, чего ты хочешь, — резко, даже излишне резко сказала Руфина. — Но я больше этого не позволю. Где угодно, только не здесь. Сюда больше этот сросшийся убудок не приедет. И если ты хочешь его, то...

— Отчего ты так жестока? — спросила Августа. — Это же люди... несчастные, искалеченные судьбой. Надо быть милосердной, надо уметь сострадать.

— И ты еще заикаешься о сострадании? Обернись.

— Что?

— Обернись. Ты видишь ее? — Руфина указала на портрет. — Это наша мать.

Августа послушно обернулась и долго, очень долго смотрела на портрет. Великая Саломея на нем была изображена молодой — в полный рост у зеркала в серебряной венецианской раме. На ней было черное платье до полу, в руках хрустальный шар, с которым она не расставалась; его помнили все, кто приходил, приезжал к ней, кто приглашал ее к себе — читать, рассказывать, видеть, обещать, предостерегать, предупреждать.

Краски на портрете были яркими, чувствовался этакий советский «кич» восьмидесятых. Некоторым, впервые попавшим в особняк на Малой Бронной, мерещилось, что это портрет кисти Глазунова или Шилова. Но это было не так. Портрет великой Саломеи рисовал совершенно другой художник. Саломея выбрала его сама, и только потому, что увидела и предсказала его раннюю безвременную кончину — смерть от несчастного случая, трагическую и нелепую, на железнодорожном полустанке. «Он уже никого не нарисует после меня, и это хорошо», — сказала она. И ее старшая дочь Руфина — очень

молодая еще тогда — запомнила эти слова на всю жизнь.

Портрет был нарисован на пике славы и популярности ее матери в определенных кругах. О Саломее говорили, нет, в основном судачили по тогдашнему советскому обычаю на кухнях, что она «как Ванга», сравнивали ее с Джуной. Но она не была ни Вангой, ни Джуной. Она была другая.

«Ядовитая божественная Саломка эпохи заката развитого социализма в СССР» — так совсем не по-деловому писал о ней американский «Таймс» в 1977-м. Все воспоминания старшей, Руфины, начались именно с этого времени, когда их с матерью перевезли и поселили в этом доме на Малой Бронной. Откуда перевезли? Руфина этого не помнила, нет, помнила, конечно, но постаралась забыть. Зачем ворошить прошлое? Мать, великая Саломея, волей судьбы большую часть жизни прожила втайне, инкогнито, хотя здесь, в особняке, и тогда и после побывало много, очень много известных людей.

Несколько раз ее возили в Кремль — еще тогда, в семидесятые, потом и в ЦКБ. Нет, она никогда не была целительницей и никого не лечила, как Джуна. Ее вызывали совсем по другим вопросам. Да-да, совсем по другим...

Когда Москву посетил Рейган... она встречалась с ним. К ней часто приезжали люди из ЦК. Особенно после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда сеансы были особенно долгими — мать запиралась с посетителями на несколько часов. Руфина помнила это. Тогда никто не знал, что делать, — не знали на самом веру, все боялись. Все очень боялись. Паника и растерянность, почти паралич, коллапс, а по радио и по телевизору — сплошное вранье. Саломею просили о консультации — просили так настойчиво, как не просили никогда прежде: «прочитать»,

увидеть, проконсультировать, предостеречь, сделать прогноз... Будет ли эффективен «саркофаг», что делать с городами, пораженными радиацией, какие грядут последствия. И главное — будут ли народные волнения, бунты в пораженной зоне, стоит ли держать в боевой готовности войска.

Хрустальный шар... Этот нежный, прозрачный кристалл... Руфина помнила его, в те дни он всегда был в руках матери, она не выпускала его, точно он был живой...

А потом... потом было еще много всего. И слава матери только росла, росла. Прием во французском посольстве и две великие ясновидящие — мать и Мария Дюваль. Тот милый мальчик, которому она предсказала олимпийское «золото» в фигурном катании, если он будет много тренироваться... Факсы, факсы, бесчисленные факсы, что ей слали в дни заседания Верховного Совета... И потом из администрации Ельцина... Тогда тоже никто ни черта не знал — как что будет и чем все закончится... Большой кровью, малой кровью... Саломею заставляли смотреть, «читать», видеть, консультировать, предупреждать. Она составляла личный гороскоп Самому. И многим, которые тоже ни черта не знали, но хотели так много от жизни. И она составляла гороскопы и читала, не щадя ничьих амбиций, предрекая то удачу, то крах. И за это ее стали потихоньку... Нет, все было по-прежнему, слава, шепоток за спиной, негласная охрана, дипломаты, иностранные журналисты, стремящиеся получить интервью «постсоветского феномена».

А потом пришла БЕДА. И Саломея — великая, божественная, ядовитая Саломка эпохи заката развитого социализма, внештатная сивилла краха, пифия реформ и всего, всего, всего, всего... не справились с этой БЕДОЙ.

— Мать умерла, — сказала Августа, отводя взгляд от портрета на стене.

Если приглядеться повнимательней, на камине под портретом в простой черной траурной рамке стояла маленькая фотография. На ней был изображен юноша лет двадцати шести. Черный пиджак, белая рубашка, овальное лицо с немного тяжелой нижней челюстью, красивые серые глаза, широкие брови и светлые волосы — длинные, хиппово распущенные по плечам...

В дверь позвонили.

— Кто-то еще по записи? — спросила Руфина.

— Та супружеская пара. Ну ты помнишь... О них звонили... Надо встретить их как подобает. — Августа направилась в зал.

Через пять минут горничная провела туда мужчину и женщину лет пятидесяти. Он в дорогом костюме, она — вся с ног до головы в «Луи Вюитон», но сгорбленная как старуха, с серым заплаканным лицом.

В зал пришла Ника. Уселась первой в кресло у окна, повернув его так, чтобы лицо ее не было видно посетителям.

— Здравствуйте, это наша младшая... Очень сильный медиум, она поможет нам, — сказала Руфина. — Вы что же, прямо с самолета?

— Я смог вырваться только на один день, — мужчина в дорогом костюме кашлянул, усаживая жену на диван напротив сестер-Парок. — Большое спасибо, что согласились принять нас.

— Наш долг помогать людям. В этом назначение нашего дара, — скромно сказала Августа. — В общих чертах мы уже в курсе вашей проблемы. Вы привезли фотографию или вещи... что-то такое, что было его, с ним...

— Я хочу узнать только одно — он жив или нет, —

женщина прижала к груди сумку «Луи Вюитон». — Мой сын... Ему же всего девятнадцать!

— Вещи, пожалуйста, или фотографию дайте, — настойчиво повторила Августа.

— Вот, вот, много фотографий. Он так любил фотографироваться. Это вот когда он был во Франции. А это когда они... когда мы отдыхали на Кана-рах...

— Достаточно одной, но где только он, — Августа забрала фото и передала его Нике.

Та взгляделась в снимок. Положила его на колени — нет, на голые ляжки, обнажившиеся бесстыдно. Она не поправила свое черное платье-коротышку, она вообще не придавала значения таким вещам. Потом она накрыла лицо изображенного на снимке рукой и откинула голову на спинку кресла. Как будто задремала.

— В общих чертах мы знаем, но расскажите снова — очень сжато, — сказала Руфина.

— Ну что рассказывать, я откомандирован в Узбекистан нашей корпорацией, там большие инвестиционные проекты в энергетику, — мужчина снова кашлянул. — Жена была со мной, а сын учился в Москве на втором курсе в университете имени Губкина. Он и приехал-то к нам туда всего на несколько дней. А потом они с другом собирались лететь в Эмираты. Прямо из Ташкента.

— Ему было девятнадцать лет?

— Да, второй курс. В то утро все было как обычно. Он встал...

— Подожди, ты не знаешь, тебя не было, ты находился в офисе. Я была с ним, я, — лихорадочно перебила его супруга. — Он встал, и мы завтракали. Вечером нас пригласили... Ну это неважно, президентские скачки... это неважно... Сын... он был все время со мной. Понимаете — совершенно незнако-

мый ему, чужой город. Ташкент, вы знаете, что сейчас такое Ташкент? Мы жили в квартале... ну, в правительственном квартале, резиденция корпорации... Там охрана и все такое прочее... Это же теперь за-граница, и потом, это Азия... Он никого не знал там, в этом городе, — я точно это знаю, он прилетел к нам всего двое суток назад. И вот когда мы сидели с ним на веранде в саду, ему вдруг кто-то позвонил по мобильному. Я и внимания не обратила, думала, что это кто-то из Москвы. Он встал, поцеловал меня и сказал: «Мама, я сейчас, на пару минут». И вышел. И я ничего не почувствовала, не встревожилась, вы понимаете? А потом я спросила у охранника, потому что сына все не было, и охранник сказал, что он вышел за ворота резиденции и пошел по улице — в чем был, в джинсах, в майке. На нем даже кроссовок не было, просто такие кожаные шлепки, испанские...

— И с тех пор вы его больше не видели? — спросила Августа.

— Он пропал. Наш сын... господи, что мы только не делали, где только не искали, кого только не под-ключали — там, в Узбекистане, и здесь, — мужчина говорил сдержанно, но давалось это ему тяжело. — Я все что мог... полиция, частные детективы... Обращался к тамошнему духовенству... В правительство, в администрацию... Наш сын... Никаких вестей, ноль. Вот уже целый год мы не знаем ничего о нем.

— Помогите нам, умоляю, на вас вся наша надежда, последняя надежда, — женщина уже плакала. — Я не знаю, я схожу с ума... Если он умер, погиб, убит... Скажите мне это, и я... Другие матери, потерявшие сыновей, могут хотя бы прийти на могилу и поплакать там, а я... я даже этого не могу. КАК РАСТАЯЛ... вы понимаете меня?!

— Ника, — тихо окликнула сестру Руфина.

Нет ответа.